

МИХАИЛ СКОРОХОВОВ
КОНСТАНТИН ИВАНОВ



В ТЫЛУ ВРАГА. ПОД МАСКОЙ ПРЕДАТЕЛЯ

ВЕРНУЛСЯ Я НА РОДИНУ

ТАЙНЫЙ
ФРОНТ

Тайный фронт

Михаил Скороходов

Вернулся я на родину

«Алисторус»

2026

УДК 82-312.4:355.40
ББК 84стд1-445.7:68.23-2

Скороходов М. А.

Вернулся я на родину / М. А. Скороходов — «Алисторус»,
2026 — (Тайный фронт)

ISBN 978-5-00269-526-3

Весна 1944 года. Оккупированная территория Белоруссии. Здесь каждый день - это игра со смертью, а доверие - непозволительная роскошь. В самом сердце вражеского логова, под личиной простого механика Кузьмина, работает советский разведчик Ивкин. Ему не нужен пистолет. Его главное оружие - острый ум, стальные нервы и безупречная легенда. На авторемонтном заводе, где каждый немецкий офицер доверяет ему свою технику, он ведёт свою тайную войну. Один на один с гестапо, в окружении врагов, он должен вычислить предателей, найти друзей и передать бесценные сведения, способные изменить ход войны. Основанная на реальных событиях и подлинном опыте разведчиков, эта повесть Михаила Скороходова и Константина Иванова - захватывающий рассказ о мужестве, выдержке и невероятной силе духа человека, который рисковал всем ради Победы.

УДК 82-312.4:355.40
ББК 84стд1-445.7:68.23-2

ISBN 978-5-00269-526-3

© Скороходов М. А., 2026
© Алисторус, 2026

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	20
Глава 3	29
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Михаил Скороходов, Константин Иванов

Вернулся я на родину

© Скороходов М. А., 2026

© Иванов К. И., 2026

© ООО «Издательство Родина», 2026

Глава 1

Всеу приходит срок.

Зажила рана и у лейтенанта Ивкина. Розовой пленкой затянуло рубец на ноге, и по утрам, вода по нему пальцем, он все явственней ощущал, как спадает воспаление и рубец твердеет. Теперь уж надо было ждать, что вот-вот главный врач госпиталя положит ему на плечо свою прохладную, бледную докторскую ладонь и скажет с бодрой ноткой в голосе: «Ну давай вперед на Запад, молодец!...»

Тогда Ивкин набьет вещевой мешок сухим пайком, затянет его потуже под самое горлышко и с предписанием прибыть в штаб армии не спеша выйдет сперва на дорогу, выющую между низкорослых сосенок, окруживших приспособленный теперь под госпиталь бывший пионерский лагерь, пройдет полем до железнодорожного разъезда, над которым торчит семафор с перебитым крылом, и остановится на переезде возле свернутой набок будки стрелочника. Да, но, когда будет получать сухой паек, от табака, конечно, не откажется, хоть и не курит, возьмет и раздаст в палате ребятам. Пусть помнят.

Выйдя к будке, он оглянется с железнодорожной насыпи назад и запомнит место – эти необозримые лесные дали, затуманенные на горизонте дымкой, ведущей взор в бесконечность, в сказочный древний мир русской природы, глубоко вздохнет и зашагает в сторону Ленинграда. Зашагает прямо по насыпи, по шпалам, и перед ним не будут голубовато поблескивать, отражая синеву неба, рельсы – их попросту нет, они сняты немцами и увезены.

День будет солнечным. Над насыпью начнет дрожать марево. От шпал потянет запахом смолы, мазута и горелого антрацита. Лишь главного не увидит глаз: рельсов. А будь они, Ивкин даже попробовал бы пройти по одной, торопясь и балансируя, как, бывало, в детстве. Подумался бы. Может, еще приложил бы ухо к рельсу, чтобы услышать далекий певучий шум невидимого поезда, как когда-то богатырь в сказке припадал ухом к матери сырой земле и, слыша за горами, за долами топот копыт коня недруга, точил булатный меч и седлал вороного коня, готовясь к смертельной схватке.

...Уж далеко позади и разъезд и семафор с перебитым, свисавшим крылом. Ивкину предстояло пройти по шпалам километров пять, а потом свернуть влево и протопать еще столько же. Там шоссе на Ленинград. Он выйдет на него, проголосует – и все будет в порядке: какая-нибудь из машин подбросит, и к обеду он подкатит к Дворцовой площади. А дальше машина не потребуется. От Дворцовой до дома долетит как на крыльях!

По обеим сторонам насыпи желтели суглинком воронки от бомб, наполненные талой весенней водой, еще не успевшей зацвести, и в нее гляделись вперемишку молодые березки и елочки, опаленные взрывной волной.

Иногда, заглядевшись, Ивкин спотыкался о шпалы и щебенку, которая, шурша, скатывалась с насыпи и с бульканьем падала в воду.

Сапоги Ивкин начистил в госпитале так, что самому небу не стыдно было отразиться в них. По этим хромовым, пошитым с некоторой изящностью сапогам, по плотно подогнанной в плечах двубортной шинели и аккуратно положенным погонам и петлицам, по ремням, не утратившим блеска и хруста, было видно, что лейтенант – штабной деятель и, передовая далеко не его стихия. Да и сам Ивкин чувствовал на себе понимающие взгляды. Не однажды ему случалось выслушивать обидные упреки в свой адрес: «Нет, ты скажи, живого Ганса ты видел?.. Ты видел фрица-то живого?..» Чаще всего это говорилось на продпункте, стоило только ввязаться в историю и урезонить какого-нибудь взводного, который, подвыпив, возвращался из госпиталя, или же танкиста, пригонявшего танки на ремонт.

Но и в госпитале один капитан-батареец сказал: «Небось шальным осколком тебя задело». А что было ответить? Не рассказывать же, как сутками напролет допрашивал пленных

гитлеровцев и раскалывал такие крепкие орешки, что и сам диву давался, откуда у него вдруг появился такой талант «шпрехатъ» по-немецки и вникать во всю подноготную. Он, брат, не пулями и не снарядами разговаривал с немцами на расстоянии, а на человеческом языке, да еще с индивидуальным подходом к каждому паршивому ефрейтору, чтобы тот выложил все начистоту, как там и что задумывает его гитлеровское начальство.

Нет, незачем было доказывать каждому. К тому ж и нельзя: рот лишний раз не откроешь, ведь в разведке работаешь, молчок!.. А то, фрицев в глаза не видел! Скажут же!..

Воздух был по-весеннему густ и пахуч, отдавал тянувшей из леска прелью. Чечётки со щебетом срывались с метелок сухой прошлогодней полыни, трепетавшей под ветерком на обочинах насыпи, и стайками отлетали все вперед и вперед по ходу движения Ивкина. «На север», – подумалось о них.

Он миновал группу связистов, ровнявших телеграфные столбы и натягивавших провода. Пройдя дальше, увидел, что тут они уже натянуты, и услышал их глухое гудение. Потом впереди вырисовался попыхивающий белым парком паровоз – это подразделение железнодорожного батальона укладывало рельсы: все ближе становился стук кувалд и кирок, позвякивание и скрежет лопат о щебенку.

Проходя мимо, он спросил не то у лейтенанта, не то у капитана (нельзя было разобрать – лишь на правом погоне остались две звездочки поперек, скособоченные досками, которые он носил наравне с бойцами), какой это километр от Ленинграда, и, получив ответ, тотчас же задал вопрос и о шоссе: далеко ли отсюда?

– Вот протопаете еще два километра, а там надо сразу спуститься с насыпи и по бревёшку перейти речку, а после все прямо и прямо по тропке, – объяснял ему сапер, размахивая огромными грязно-коричневыми от ветра и солнца руками.

– Ну чего встали! – прикрикнул он на солдат, которые опустили кирки в надежде перекурить, послушать разговор командиров. – Давай, давай, ребята! Фриц этого самого «давай-давай» не любит! – И первым взялся за веревку с крюком на конце, чтобы подтянуть рельс в стык.

– Не балует начальство куревом-то. Экономить приходится, – пошутил Ивкин.

– Вот именно, – отозвался все тот же сапер. – Норму не увеличивает. Не учитывает, что на ветру курим, и табак горит как порох. А про Ленинград что тебе сказать... Будешь там, сам увидишь.

Когда Ивкин добрался до шоссе, пошел мелкий спорый дождик. И хотя был он теплым, по-мартовски ароматным, на душе помрачнело, сердце сжалось, словно кто-то сильный схватил его в пятерню.

Сколько бы последнее время он ни писал матери – все оказалось напрасным. Служили с ним земляки-ленинградцы и тоже – сколько ни писали – не получали ответов. И жива ль его старушка, Ивкин не знал. Но из госпиталя все же черкнул, что теперь уже рядом и урвет времечко, навестит. «Жди. Скоро увидимся».

Участок шоссе, на который он вышел, был изобомблен; недалеке спуск петлял между изуродованными кузовами автомашин, брошенных немцами при отступлении, рванными резиновыми окатами, передними и задними мостами, горелыми кучами какого-то бумажного хлама, битым стеклом и расплюснутыми консервными банками. Место выбрал Ивкин как нельзя лучше: тут ни один шофер быстро не погонит.

Ивкин встал возле спуска в ожидании какой-нибудь попутной машины.

А дождь усиливался. Теперь он лил и лил острыми, как иглы, струйками. Под ними в двух шагах от Ивкина тонко позванивал никелированный, еще не поржавевший, целехонький колпак автомобильного колеса. Ивкин поддел его носком сапога, и колпак, звеня и кувыряясь, покатился по булыжнику шоссе, мелькая красной надписью марки машины, которой когда-то принадлежал. «Шеврале», – прочел Ивкин, взглядом поискал на автомобильном кладбище

машину этой марки и вскоре различил рассеченную надвое, с вывороченным, как и нарочно не удастся, рулевым управлением.

А ведь несколько лет он водил такую же... Если бы не колпак, поддетый ногой, пожалуй, и не вспомнил бы. Тогда колпак тоже покатился по мостовой точно с таким же звоном, как сейчас...

* * *

...Он покатился и улегся на тротуаре. Полицейский, стоявший на перекрестке улицы, жезлом подал Ивкину знак остановиться. Но, подойдя, увидел, что имеет дело с дипломатической машиной, откозырнул и сам принес колпак с тротуара.

Это произошло в мае или даже в июне три года назад, а кажется, что давно-давно, чуть ли не в юности. Много с того времени пережито и так были полны все эти годы событиями! Война не укорачивает, а удлинняет время...

Ежедневно к девяти утра, в хорошо сшитом костюме асфальтового цвета, при галстукке, в серой кепке, он был всегда наготове по первому вызову консула подать машину.

Консул, которого он возил, был пожилым человеком, немногословным и всегда задумчивым. Он тоже был ленинградцем, до революции литейщиком Обуховского завода и хорошо когда-то знал отца Ивкина, работал с ним. Знал он и мать, Анну Дмитриевну. Году в тринадцатом – четырнадцатом даже ухаживал за красивой Нюркой с Путиловского и, возможно, женился бы на ней, да помешала тюрьма за революционное подполье, а потом – ссылка. Что-то отеческое проглядывало в его обращении с Ивкиным, и, конечно, Ивкин попал к нему на работу за границу не без его протекции.

По каким-то неотложным делам они почти каждый день выезжали из решетчатых железных ворот консульства, и красный флажок на правом крыле машины резко бился на скандинавском прохладном ветерке с фиордов. Консул не придерживался этикета. Он садился рядом с Ивкиным и смотрел из-под очков вперед, как казалось, только на флажок. Ни о чем особенном и серьезном он не разговаривал, а все больше вспоминал о прошлом, об отце Ивкина и себе самом, о том, как однажды, поддавшись соблазну занять мотоцикл, собрали они нечто наподобие «козла», и этот «козел» стрелял у них сизо-серым вонючим дымом, завез куда-то в сторону Парголова и – ни туда ни сюда; пришлось нанять ломовика, который и доставил им домой такую вот чудо-технику.

Иногда консул спрашивал, что пишет Анна Дмитриевна. А иной раз всю дорогу твердил одно и то же: «Надо учиться, учиться надо, надо учиться! Автодорожный техникум у тебя за плечами – мало! Инженеров нашей стране надо побольше. Вот отвозишь меня положенный срок, и махай в какой-нибудь институт, чтобы наша с отцом твоим старая затея по мотостроению не пропала даром!..» И, по-своему перефразировав стихи полунапевал слабым тенорком:

*Быть шофером – хорошо!
Инженером – лучше!..
Пусть меня научат!*

После короткой паузы спрашивал: «Когда у тебя кончается срок работы? В мае? В июне? Так вот, ни дня не задержу, поезжай и учись!»

Но в тот раз, когда слетел колпак, Ивкин ехал один, и флажок на правом переднем крыле машины был запеленат кожаным чехольчиком. Спешил Ивкин в авторемонтную мастерскую, специализировавшуюся на «шевралетах». Уж который год машина проходила в ней профилактику. Тамошние автомобилисты знали дело отлично. Особенно один из них, молодой немец, по

фамилии Хохфельд. Был этот Хохфельд недавно автомобильным гонщиком у себя в Германии, да покалечился так, что плюнул на спорт.

Он появился в мастерской несколько недель назад. Не женат и, пожалуй, ровесник Ивкину. Отец у него где-то в Данциге или в Дрездене – Ивкин не уяснил, понял только, что какой-то коммерческий воротила, хотя и инженер, а больше тяготеет к коммерции, что после аварии на гонках попытался пристрастить сына к одному выгодному делу, и тот будто бы уже втянулся, да вдруг совершил глупую манипуляцию в купле-продаже чего-то и сколько-то там тысяч марок пустил в трубу. Словом, отец поспешил поскорее избавить сынка от тягот коммерческой жизни, довольно громко и скандально поговорил с ним, в результате Карл сделал обиженный жест, махнул вот сюда, к скандинавам, на свои хлеба.

Ивкин узнал это из третьих или четвертых уст. Хохфельд ухлестывал за одной смазливой шведкой и рассказывал ей о себе. А она – своему брату, мойщику машин в мастерской. А мойщик – второму шоферу консульства, научившемуся бойко болтать по-шведски.

Сама история ничем не заинтересовала. Ну Хохфельд и Хохфельд – немец, толковый специалист по автоделу. Совсем иное заставило Ивкина относиться к нему не как к другим работникам автомастерской, и скоро их шапочное знакомство перешло в обыкновение беседовать при встречах. Ивкин неплохо знал немецкий. Знания дались ему как-то шутя, тогда еще, когда мать отправляла его летом на каникулы к родственникам в деревню под Кингисепп, где он играл вместе с ребятами остзейских немцев. Ивкин обнаружил, что пятерки по немецкому языку в школе обеспечены ему навечно, и случалось, что даже выступал на вечерах с чтением стихов Бехера. В общем, в немецком он оказался вторым докой после учителя.

Это обстоятельство и сыграло свою роль. Хохфельд с Ивкиным частенько усаживались поболтать и хоть особенно не засиживались, а все же кое-что узнавали друг о друге. Скучно не бывало. А после того как Хохфельд сообщил, что наполовину русский – мать его была русской, да к тому же из Питера, и, по всей вероятности, жива до сих пор, – Ивкин окончательно расположился к нему, но все же смотрел на него, как на заманчивую книжку, которая хоть и интересна, а шут знает, правдива ли?

По-видимому, Хохфельд не лгал. И после того как сказал, что мать у него русская, Ивкину сразу бросилась в глаза мягкость в чертах немца, и он даже подумал как-то об извечной особенности русских матерей передавать ее своим детям по наследству.

Так вот что рассказал Хохфельд, когда они однажды меняли покрышку у машины и разговаривались, пока вулканизаторщик искал прокол в шине и ставил латку.

Хохфельд не помнит ни матери, ни родни с ее стороны, ни города, где родился. Это и естественно: ему едва минуло четыре года в восемнадцатом... От тех пор у отца остался один лишь бобровый воротник с драпового пальто, да и то, кажется, его побил моль, и он, наверно, выброшен. Так что теперь у отца не сохранилось ни одной вещи, которая бы напоминала ему о России, о тех временах, когда он был представителем фирмы «Зингер и К^о», если не считать Карла, сына от русской.

– Что же все-таки случилось? – спросил Ивкин.

– А вот слушай. Только не пытайся выяснить подробности – я их сам не знаю, отец ещё ни разу не отличался разговорчивостью по этому поводу. Так вот слушай... Он женился в тринадцатом на русской. А в четырнадцатом в их квартире на каком-то петербургском канале заорал и начал пачкать пеленки я, их кляйне киндер. Потом... – И Хохфельд задумался, будто припоминая что-то, но махнул рукой. – Впрочем, припоминать мне не приходится, а все со слов отца и согласно старушке истории... Потом – война. Немецких подданных по шее из России. Надеюсь, тебе известно, а мой фатер в июне четырнадцатого мотался с зингеровскими фирменными делами по вашим городам и застрял, кажется, в Пс-Копфе.

– В Пскове, – поправил Ивкин.

– ...И прожил там под надзором года три с лишним. Мать моя к нему приехала. А дальше – туман. Когда в восемнадцатом войска кайзера взяли Пс-Копф, между отцом и матерью что-то произошло. Что – он мне не говорит. Только привез он меня в Германию, и вот, сам видишь... А я мог быть русским.

– А мать не помнишь? Какая?.. Имя?.. Может, фамилию?..

– Евгения Владимировна Саратова.

– Город у нас такой, Саратов, – сказал Ивкин. – А может, карточка есть, адрес?..

Хохфельд медленно полез в грудной карман и, вытащив бумажник, вынул из него потрепанную фотографию. Она была настолько старой, выцветшей, что ничего нельзя было разобрать.

– Это в Пс-Копфе в восемнадцатом. Мать со мной. Я на руках, видишь?

– Да-а... – качнул головой Ивкин, вглядываясь в фотографию. – Сверток какой-то, кулек. А больше ни одной?..

Хохфельд молча взял из его рук фотографию и осторожно положил ее в бумажник, потом хлопнул по нему ладонью и, отправляя обратно в карман, вздохнул:

– Вот так-то, Ивкин! А про адрес что я тебе могу сказать? На каком-то канале в Ленинграде родился...

– Мог бы в Берлине в наше посольство обратиться, установить – жива ли. Да и через нас здесь можно бы... Поговори-ка с консулом. Поговори, – предложил Ивкин.

Хохфельд щелчком выбил из пачки сигарету, прикурил от пляшущего синего огонька зажигалки и, щурясь в табачном дыму, пристально поглядел на Ивкина.

– Ты что, ребенок?! Стоило мне нажать кнопку в подъезде вашего посольства в Берлине, как... – он не окончил фразу. – Ты имеешь представление о чистоте арийской крови? Установили бы, что у меня мать русская, и уж будь покоен, доказали бы, что большевик и отец мой, Рудольф Хохфельд, вовсе не честный дрезденский коммерсант, а настоящий красный, завербованный большевичкой в восемнадцатом, когда базарил зингеровскими машинками в России. Знаешь какая бы каша заварилась! Нет уж, – и Хохфельд несколько раз отстранил от себя ладонями воображаемые неприятности, которые могли навалиться в результате необдуманного шага, – нет уж, ни к чему. С меня вполне достаточно снов, которые вижу... Я сердечно благодарен фрау Розе Шарлотте фон Фрейденрайх, своей мачехе, она еще в двадцатом, когда отец женился на ней, сказала: «Отныне, Карл, ты мой сын, потомок рейнских юнкеров, и учись играть на пианино „Стражу на Рейне“. Представляешь, – тронул Хохфельд колено Ивкина, – теперь мы с отцом как за каменной стеной! Кровь фон Фрейденрайхов не подлежит переливанию из пробирки в пробирку с целью установления, арийская ли? Понимаешь теперь, какое дело!.. Что же касается твоего предложения обратиться не через посольство в Берлине, а через здешнее консульство, то, прости, ты и тут наивен, как все русские. Это у тебя от добросердечности. Я и себя иной раз ловлю... Наверно, от матери... А положение таково: я – немец, германский подданный здесь, в чужой стране, обязан действовать только через свое посольство. Ваше консульство снесется с нашим посольством, как только я обращусь, и посредничать между мной и матерью не будет. Все это очень ясно само по себе, и достанусь я кому следует тепленьким.

Докурив сигарету, Хохфельд далеко отшвырнул ее.

– Значит, Саратов Евгения Владимировна, – вслух повторил Ивкин, как бы запоминая имя матери Хохфельда, – Саратова. Вот поеду в отпуск, может... – И, сдвинув кепку на затылок, принялся листать купленный по дороге журнал.

– Это дело другое. Как знаешь... Но лучше не надо. Я слышал, что и у вас там придираются, если обнаружат родственника за границей.

Ивкин сделал вид, будто не расслышал.

Он не скрыл разговора с механиком из автомастерской немцем Хохфельдом – рассказал консулу день или два спустя, когда они ехали в машине.

Консул долго не отвечал. Потом положил руку на плечо Ивкина:

– Может, правду говорит твой механик. А может, ловкая выдумка. Тебе не следует забывать, кто ты, кем работаешь, кого возишь. Все это надо помнить тебе, и уши держать, как говорится, топориком... Топориком, торчмя! – уточнил он и, сузив ладони, вытянул перед собой. Поменьше веди так называемые задушевные беседы. Особенно с немцами. Их теперь в каждой стране понатыкано ровно столько, сколько считает необходимым третий рейх. Мне очень жаль, Костя... – И больше консул уж не возвратился к теме разговора.

Прошло сколько-то времени, и вдруг однажды утром он вызвал Ивкина к себе в кабинет и начал как раз с той же фразы, которую не закончил в машине:

– Мне очень жаль, Костя... Ты скрыл, что в письме домой просил мать узнать адрес... – Консул взял со стола и, повертев в руках бумажонку с каким-то штампом, прочел:

– Евгении Владимировны Саратовой. К твоему счастью, эта Саратова оказалась человеком чистейшей биографии и обо всей той истории, которую так путано поведал тебе Хохфельд, она никогда не скрывала, а изложила ее в своем партийном деле. Да, у нее сын в Германии. Так что ж из того?! Да и Хохфельд твой был действительно правдив, и возможно также, что движет им светлое сыновнее чувство, что он ничего не имеет в виду, кроме свидания с матерью. Все это так. Но меня все же удивляет, как мог ты просить в письме... Ты что, не знаком с порядком, мальчик? – понизил голос консул. – А результат? Результат таков: приходится за тебя краснеть... Ты, кажется, просишься в отпуск? – поднялся из-за стола консул. – Что ж, я пожму тебе руку. Поедешь. Передай привет Анне Дмитриевне.

Ивкин все понял. Но он начал было оправдываться. Консул же только кивал и, когда Ивкин кончил говорить, снова сел и вплотную вместе с креслом подвинулся к столу, прихлопнув по нему ладонью в подтверждение того, что пускаться в рассуждения считает излишним – решение принято.

– Советую одно: не появляться в той автомастерской. Так будет лучше. А машину сдай. Сдай и упаковывайся.

День был ясный, долгий. Переваливало на вторую половину июня. Со своими шоферскими делами, со сдачей машины второму шоферу консульства Ивкин справился до обеда. А во второй половине дня ему были заготовлены документы. Так что время выезда зависело только от теплохода на Ленинград.

Ближайший уходил через два дня, и эти два дня показались Ивкину совершенно опустошенными. Все два дня у него ломило голову и в нее хлынуло столько мыслей, сколько, пожалуй, не бывало за всю жизнь.

Ему помнится, как лежал он на диване в своей комнате во флигельке, примыкавшем к зданию консульства со двора, и, накрыв подушкой голову, раздумывал над случившимся. И дернуло ж его просить в письме мать справиться в Ленинграде о какой-то Саратовой. Мало ли под каким соусом завязывают знакомство шпионы!.. В общем, теперь все! И еще хорошо, если все. Может, начнут таскать куда следует. Этого не хватало!.. А что он будет отвечать? Отвечать надо просто, говорить, как получилось, как познакомился с Хохфельдом и как тот рассказал ему, что мать у него в Ленинграде и что хорошо бы узнать ее адрес. Вот и попытался узнать, помочь. Разве совершено преступление?! Преступления, конечно, он никакого не совершал, никто его не осудит, однако...

Удивительно, как буквально за несколько часов изменилось к нему отношение в консульстве. Обычно бывало иначе: уезжавшего на Родину одолевали разными просьбами. Один просил обязательно заглянуть к родне; другой – привезти книжную новинку, которую здесь днем с огнем не сыщешь; третий передавал домой безделушку в подарок ребятам. Но сейчас

желали лишь счастливого пути. И только. Сдержанно пожимали руку, сдержанно улыбались, и почему-то никто-никто не настаивал забежать при случае на минуту по такому-то адресу!

Спустя два дня Ивкин подходил к трапу теплохода, отправлявшегося прямым рейсом на Ленинград. Провожал только шофер, которому он сдал машину. Но и с ним разговор не клеился.

Больше касался марок автомобилей: обсуждались скорости, низкая или нормальная посадка, какая машина сколько жрет горючего... Лишь в самый последний момент, когда уж они пожали друг другу руку, провожавший – а он был щупловат, не по-шоферски скроен, из тех, кому другие шоферы вечно помогают искать потерявшуюся искру, – спросил так, словно бы вопрос долго мучил его и наконец вырвался.

– И куда ж ты теперь, Ивкин?..

– Как куда? – удивленно, вопросом на вопрос отвечал Ивкин. – Как это куда? Дипломата из меня не получилось – но это еще ничего не означает, хоть и факт. Баранку из рук не вырвут?.. Пойду в ломовики. Это вернее, чем какого-нибудь там возить...

– Ломовиком лучше, – кивнул провожавший. – Груз спокойнее. Не политику возишь.

Это было все, о чем они поговорили. Теплоход отвалил от пирса, за бортом захлупала мелкая волна, забурила под могучим винтом, и поплыл, начал удаляться чужой город с чужими улицами, заводами, фабриками, магазинами, парками... Потом стало казаться, что теплоход остановился, появилось странное ощущение, а скорее, домысел, что земной шар поворачивается под ним и повернется другой стороной, где перед взором вдруг окажется родной Ленинград, милые сердцу люди, проспекты, сады, дымы из труб... И мать. Но она не встретит в порту, он не дал знать. Так пусть же – как снег на голову!..

Ивкин пил в ресторане черное бархатное ленинградское пиво, бродил по палубе, потом спустился в каюту и не вышел из нее до самого Ленинграда, лежа читал томик Нексе, часто откладывая книгу и задумываясь над тем, что, собственно, только теперь как следует знакомится со скандинавами и писателем, с их жизнью – работает, заглядывает в их дома, – а до этого только и делал что ездил заученными маршрутами мимо них, и авторемонтная мастерская была, пожалуй, единственным местом, где ему удавалось задерживаться...

* * *

А весенний дождь все лил и лил. Колпак от колеса раздавленного немецкого „шеврале“ наполовину наполнился водой и больше не позванивал под косыми и острыми струйками. Машин не было. Шинель на Ивкине промокла насквозь, отяжелела, а новенькая портупея отсырела и потемнела.

Похожий на фанерный кубик на колесах, „виллис“ будто вырос перед Ивкиным и, притормозив, словно ощупывая под собой почву, начал осторожно спускаться с шоссе в объезд развороченного промежутка, но не рассчитал и попал по правое крыло в яму, полную глинистой жижи. Он зажужжал, подергался взад-вперед и стал как вкопанный.

Открылась заделанная фанеркой с маленьким стеклышком-оконцем дверца, и вылез боец-шофер. Он поспешно обежал машину, заглянул под колеса, мгновение постоял в раздумье, вытащил из-под сиденья лопату и принялся подкапывать под передним буфером.

Оказия с „виллисом“ была как нельзя кстати для Ивкина, и он тотчас подошел.

– На Ленинград, что ль? – спросил он шофера.

Тот мельком взглянул на него и, зная наверно, что сейчас последует просьба подбросить, кивком указал на кабину.

– Товарищ командир, – теперь уж обратился Ивкин к сидевшему в ней человеку, еще не видя, к кому именно, – если на Ленинград, не подбросите ли? Из госпиталя...

Из кабины показалось плечо с полковничьим погоном. Ивкин вытянулся, ожидая, что вот-вот будет сказано и еще что-нибудь в том же роде, после чего он возьмется за лопату, а шофер сядет на свое место, но остолбенел: перед ним был командир батальона Михайлов, его командир по действительной службе.

– Ба-а!.. – утробно, как в бочку, пробасил полковник, тоже узнав Ивкина. – Вот уж истинно что делают фронтовые пути-дороги! Да как это, откуда? Из госпиталя, говорите... А ну давай с новыми силами за лопатку! – сбиваясь на „ты“, проговорил полковник. – Давай, давай, обеспечивай местечко в „козле“. Ну и ну-у!.. – прогудел он» качая головой. – А не забыл свой снежок? Помнишь про снежок-то?! – крикнул он.

– Помню, товарищ полковник! – ответил Ивкин, уже орудуя лопатой. – Такое не забудешь.

– То-то! – смеясь, погрозил Михайлов. – А до меня доходил слух, что ты будто бы в дипломатах ходишь. Ну, думаю, пошел парень в гору. Дай бог память, кто это мне говорил?.. И вот, на тебе, – встреча!

При упоминании о снежке Ивкин улыбнулся. Это действительно он залепил круто скатанным и заледенелым в ладонях снежком в биографию кандидата в депутаты, расклеенную на заборе перед выборами. Залепил нечаянно, когда целился в кого-то из товарищей, такого же сержанта, каким был сам когда-то в тридцать седьмом. Высыпали они из столовой и, пока не построились, лупили друг друга снежками. А случилась вон какая неприятность: снежок так и влип в биографию, разорвал портрет Михайлова – их командира, за которого голосовал целый округ! Вызывали тогда Пекина, подозревали в чем-то, допытывались, например, откуда он так хорошо знает немецкий язык... Спасибо самому Михайлову, поговорил он с кем-то, а потом и с Ивкиным и, помнится, смеясь, спросил;

– За что же ты меня так, а? Теперь уж наверняка забодают на выборах...

Только тогда Ивкина оставили в покое.

После пятнадцатиминутной буксовки «виллис» наконец выкатился из засосавшей его жижи и пошел на большом ходу к Ленинграду. Ивкин боком полулежал на каких-то мешках, рассказывал Михайлову о себе – немного о том, как работалось за границей и почему был отозван оттуда, о том, что сошел с теплохода в Ленинграде в то самое утро, когда началась война, и всего только два денька удалось побыть дома – поехал в Москву и явился в наркомат. В Москве и мобилизовали. Послали в стрелковую дивизию переводчиком при помощнике начальника штаба по разведке. Сыграла роль рекомендация наркомата. Нашлись в нем люди, инциденту с письмом не придали значения. С тех пор воюет в штабе. Да вот ранило, можно сказать, случайно.

– Женат? – спросил Михайлов, все время внимательно слушавший его, и вспомнил смышленного сержанта, который успел до службы окончить автодорожный техникум, знал немецкий язык и при желании сумел бы быстро продвинуться на военном поприще.

– Как-то не успел, товарищ полковник, – с виноватым смешком ответил Ивкин.

«Виллис» давно уж катился окраинными улицами Ленинграда, то и дело сбавляя скорость и перед противотанковыми надолбами, ошетилившимися стальными рогами, и возле развороченных трамвайных рельсов, выбирая узкие проезды между грудями булыжника, песка, объезжая людей с носилками и лопатами.

«Виллис» пересекал улицу Стачек недалеко от Кировского завода. А немного дальше, в перспективе домов под пятидесятыми номерами, еще так недавно находился враг и злобно давал о себе знать методически размеренными артиллерийскими обстрелами.

Но Ленинград выстоял, ленинградцы победили! Сколько мужества, сколько сил, житейской изобретательности и мудрости потребовала от них эта победа, Ивкин мог представить себе пока лишь приблизительно.

И все же сердце его горело огнем восхищения. Он был ленинградцем, всю жизнь, с рождения, обязанным этому великому городу, который не дал задушить себя кольцу фашистских войск. Враги рассчитывали раз навсегда покончить с ним. Ждали, что ленинградцы в блокаде перегрызут друг другу горло из-за ста граммов хлеба, половника пустого супа, охапки щепок для печурки. Фашистам думалось – все забудут и предадут забвению свою героическую историю. Забудут, что делали революцию и Ленин был вместе с ними.

Нет, ставка зверей была бита. Расчеты бронированных мешчан опрокинулись. Голодая, люди находили в себе силы быть полезными своему Ленинграду.

Ивкин попросил шофера остановить машину и стал прощаться с полковником.

– Ну так вот что, – подавая ему руку, сказал Михайлов, – есть у меня на тебя виды. – Хочешь со мной работать?.. Тогда найдя меня по этим координатам. – И на вырванном из полевой книжки листке написал Ивкину адрес. – Лучше сегодня же вечером, а то закручусь, заверчусь с делами... Нынче здесь, завтра там...

– Буду. Обязательно буду, товарищ полковник! Только вот повидеюсь...

– Счастливо разыскать мамашу. Верь: жива!

И «виллис» тронулся...

«Легко сказать, жива... – подумал Ивкин, глядя ему вслед. – Что с ней? Где она? Ведь сколько ни писал, ответа не приходило».

Последний раз он обнял мать почти три года назад. Это было на Московском вокзале. Два дня провел он тогда дома. Даже по знакомым не походил. Да и о чем было говорить с ними? О себе? Нет, конечно. Все личное сразу отодвинулось на задний план. Несчастье, беды, кровь, смерть вдруг взглянули на людей сразу и отовсюду, изо всех углов, и каждый говорил о судьбе всех, о судьбе своих близких, тая свою собственную, не касаясь ее. Люди предполагали, учитывали, взвешивали все, что слышали, думали, видели. И как тут было появиться им на глаза в такое время! Появишься – и сразу засыплют вопросами. Ведь среди дипломатов работал! Ты, скажут, что-нибудь да знаешь, чего не знаем мы. Всякие там хитрые нити дипломатии уразумел, разные уверения в совершенном к нам почтении и прочее. Почему же тогда война?! Почему ничего не говоришь? И вообще, что там у тебя получилось, если появился?..

А что он знает? Знает только одно, как и все они: «бить врага на его территории». И еще песни по этому поводу. Что он, военный специалист какой? Нет же, не специалист. А как все, как большинство, годный лишь под винтовку.

Главное же, а он был в этом уверен, начали бы спрашивать, что случилось, почему он здесь. А врать не хотелось, да и не умел он врать. Говорить же правду... А к чему? Только запутаешь, не поймут, подумают, что действительно виноват в чем-то серьезном, коль с немцем спутался.

Так два дня и просидел он дома. Первый день вместе с матерью – она отпросилась с работы. Да и отпросилась ли? До обмена ли книг было людям в день начала войны! И библиотека в клубе турбинного завода была заперта.

Прошел и второй. Вечерним поездом он должен был уехать в Москву. Мать наглаживала ему белье, сорочки, носки и складывала в чемодан, а он одно за другим выкладывал обратно на диван. Зачем это ему все? И вообще ему ничего не потребуется, поскольку и его, как всех, ждет фронт, и, по-видимому, увидеться уже не придется, все решится в Москве.

На дорогу они посидели, помолчали. Он, широко расставив колени, чуть нагнувшись, оперся на них локтями и тоскливо глядел в окно. А мать тяжело положила руки на стол и не спускала с сына глаз. Она осунулась и постарела за эти два дня.

Но кто из наших матерей не постарел тогда!

Ивкин краем глаза взглянул на мать:

– Ну что ж... Что миру, то и мамкиному сыну. Ты ведь всегда так мне говорила, мама. Скажи и сейчас.

– Повторю, – слабо улыбнулась она и поднялась:

– «...То и мамкиному сыну!»

Когда они ехали на вокзал в битком набитом трамвае, она шепнула:

– А знаешь, Костя, я все же разыскала ту... Саратову. Ну, чей адрес просил ты в своем письме узнать.

До этого момента ни он, ни она ни разу не произнесли имени Саратовой, и мать делала вид, что письма не получала. Так вот, значит, письмо все-таки было вручено, дошло!

– Странно! – вырвалось у Ивкина. – Почему же ты все время молчала?

– До того ль сейчас? – уклончиво ответила мать.

Трамвай со скрежетом круто повернул, и Анна Дмитриевна, взглянув в окно, указала на какой-то дом.

– Вот в том, – сказала она, – где «Галантерея», живет Саратова. Представь, в адресном бюро дали троих. И все Евгении Владимировны. Прихожу к одной, начинаю издалека, так и так, мол. А она как замахала на меня обеими руками, да обернулась и крикнула мужу: «Федя, выйди! Вот тут пришла какая-то и хочет нам приписать связь с границей. Будто там у меня ребенок! Каково?!» – «Что та-к-кое!» – рявкнул Федя, я и вылетела от них, как пробка. А вторая Саратова оказалась девчонкой с косичками, так что и говорить с ней не пришлось. И только третья... Симпатичная такая, Костя. «Да, – говорит, – действительно должен у меня быть сын Карл в Германии, и о своих материнских чувствах, думаю, толковать нечего, вы сама мать и понимаете». В общем, симпатичная. Была у нее еще раз. Была и еще. Дело в том, Костя, что она, можешь себе представить, тоже библиотечный работник. Но какой! В Государственной публичной! И понимаешь, как-то сблизилась. Она мне многое рассказала. И про замужество, и про псковскую свою жизнь в восемнадцатом. И про то, как муж увез четырехлетнего Карлушку в Германию. С тех пор одна. Тяжело, но что ж поделаешь, так вышло... одна. А сейчас тем более.

– Мама, – перебил Ивкин, – я не взял ни одной твоей карточки.

– Пришлю в письме. Не в фотографии резон, сынок. Мать должна быть в сердце, – тихо, казалось, одними губами проговорила она. – Вон и тот немец твой. Он и в глаза не видел мать, а в сердце носит. Я-то думаю, никакой он не шпион, зря подозревали.

– Оставь, – резко махнул рукой Ивкин. – «Носит...» Наверно, забили и теперь с оружием идет на собственную мать.

– Вот и я говорю, каково ей, – еще тише произнесла Анна Дмитриевна, дотронувшись до руки сына.

На вокзале стояла страшная сутолока. Казалось, люди сговорились уехать именно сегодня и именно с тем же, что и Ивкин, поездом.

То были, по всей вероятности, отпускники, приезжавшие погостить в родной Ленинград, или командированные, или туристы, экскурсанты, которым, может быть, так и не удалось побывать ни в Эрмитаже, ни в Петергофе. Они совали в окошечки билетных касс документы и деньги, толкались и ругались. Немолчный гул висел под высокими сводами вокзала. К семьям, к домам своим стремились люди.

Ивкину довольно быстро удалось выправить билет – заграничный паспорт подействовал на дежурного. Вернувшись к аптечному киоску, возле которого ждала мать, Ивкин нашел ее разговаривающей с какими-то двумя женщинами, примерно ее же возраста, и с мужчиной постарше, одетым в защитную гимнастерку и галифе. Мать поспешно попрощалась с каждым из них за руку и отошла.

– Вон та, Костя, в сером макинтоше, и есть Саратова. Сестру с мужем провожает. Он секретарь райкома в Белоруссии, и тут по делам. А она тоже работает. Врачом, что ли.

– И ты что же, сказала Саратовой, кого провожаешь?

– Нет, нет!.. Не место и не время. И не к чему. Говорю, племянника.

«Так вон она какая, родня-то, у Хохфельда, а он и не знает!» – подумал Ивкин, протискиваясь с матерью сквозь толпу на перрон.

И все-таки пришлось ему познакомиться с Саратовой, с ее сестрой и мужем сестры. Столкнулись у вагона – места оказались чуть ли не рядом. Он чувствовал, Саратова с нескрываемым любопытством разглядывала его, особенно темно-коричневый костюм не нашего покроя, и, чувствовалось, хотела о чем-то спросить, но он, обращаясь к матери, называл ее тетей Аней, и это, по-видимому, сыграло свою роль: Саратова вдруг успокоилась и все внимание обратила на сестру и зятя. А Ивкин мысленно сравнивал черты ее открытого и крупного лица с чертами лица Хохфельда, находя в них много общего. Он уловил мягкость во взгляде больших серых и внимательных глаз, уловил чуть заметный, но характерный закус верхней губы, отчего у матери и сына подбородки немного выдавались вперед. Но как ни странно, Хохфельд больше был похож на тетку, у которой черты эти были ярче.

Поезд тронулся. И долго были видны Ивкину две провожавшие женщины. Они махали платками. Кажется, он что-то подумал о том, что вот перед ним две матери, сыновья которых обязаны будут стрелять друг в друга, и матери будут это знать, но ничего не смогут поделать, не разгонят по домам разодравшихся ребятишек своих и не устроят им порку.

«Глупости какие-то лезут в голову!»

Ивкин сильно потер виски, чуть не до пояса высунулся в вагонное окно, его обдало упругим ветром, освежило. Шурша, пронеслись мимо деревья в палисаднике путевого обходчика и он сам с фонарем в руке, открылась западная часть горизонта с кроваво-красной кромкой от закатившегося солнца...

То было почти три года назад. С тех пор Ивкин ни разу не свиделся с матерью, а лишь получил от нее одно-единственное письмо где-то в сентябре сорок первого, адресованное на наркомат и каким-то чудом нашедшее его на фронте. Оно было обычным для тех времен письмом матери к сыну-фронтовику – нежным и немногословным. Он сохранил его, и оно, не раз перечитанное, пожелтевшее, совсем потрепанное в сгибах, постоянно было с ним и лежало в кармашке гимнастерки, вложенное в комсомольский билет.

Но куда же направиться, где найти мать. Домой? На турбинный, где она работала в библиотеке...

«Странно я рассуждаю. Конечно домой. Скорее домой!» – подумал Ивкин, пересекая улицу по направлению к переулку, где за углом надо было свернуть в третьи ворота направо и постучать в крайнее окно небольшого флигелька, как это он, бывало, делал, и мать выходила открывать ему дверь.

Сердце его учащенно билось и кровь прилиwała к лицу. Он не чувствовал под собой ног, и что-то подкатывало ему к горлу, глаза его повлажнели и слеза просилась на ресницы. Только б жива была! Только б жива!..

Он шагнул в ворота и остановился. Деревянного флигелька не было. От него осталась кирпичная коробка подвала, окруженная тополями бывшего палисадника. Какая-то незнакомая, страшно исхудавшая женщина вышла из подъезда соседнего с облупленной штукатуркой и следами пулеметного обстрела дома и медленно прошла мимо Ивкина.

– Пойдите, – остановил он ее. – А Ивкина... Анна Дмитриевна Ивкина, она тут жила...

– Я никого здесь не знаю, сынок. В Ленинграде теперь так: кто жил там, – и она показала куда-то, – живет здесь. А кто жил здесь, теперь живет там... Если, конечно, жив.

Ивкин вошел в подъезд. Его ли не знали в этом доме, и он ли не знал его жильцов, росший у них на глазах! Постучался в квартиру налево – никто не вышел; постучался в другую, направо – увидел незнакомые лица: девушку и старика, неподвижно лежавшего на кушетке. Но и они ничего не сообщили ему о матери. Лишь на третьем этаже в квартире инженера, с сыном которого дружил, встретил он тетку Клаву, бессменную их дворничиху, но и она, поохав, ничего толком не смогла сказать – где Анна Дмитриевна, что с ней, только залилась слезами.

– Ночью это было, Костюшка... В самом начале, ночью... Снаряд попал... Была ли дома-то Анна Дмитриевна, вот уж не знаю. И не встречала, не видела с тех пор, если, к примеру, жива осталась.

Вплоть до вечера Ивкин метался из конца в конец по израненным улицам и площадям измученного блокадой города. Где только не побывал он в надежде набрести на след матери и хотя бы узнать, что стало с ней, где похоронена. Был на заводе, но безрезультатно. Ответили, что ушла из библиотеки еще в начале войны, а куда – никто не смог сказать. Был и еще по двум-трем адресам, но ничего толком не добился.

Вечерняя заря теплилась над Невой, когда, усталый, он присел на выщербленную опалубку тротуара набережной и тут вспомнил о полковнике Михайлове, и о том, что обещал быть у него. Все равно надо было куда-то идти, где-то переночевать, а уж завтра он будет в штабе дивизии, среди своих ребят из разведотделения. Не так уж далеко продвинулся фронт, к завтрашнему вечеру сможет добраться до места.

Ивкин решил переночевать у дворничихи тети Клавы – единственного знакомого человека, которого удалось ему встретить, и вскочил в проходивший мимо трамвай с бурой фанерой вместо стекол. Трамвай был почти пуст, громыхал колесами, дребезжал фанерой, попискивал и поскрипывал, казалось, каждой заклепкой, каждым болтыком.

– До Гончарной идет?

– Идет, – ответила пожилая, закутанная платком кондукторша. Трамвай на крутом повороте резко качнуло, и колеса так заскрипели, что прошелся мороз по коже. Какое-то чувство заставило Ивкина взглянуть сквозь дырявую фанеру, где они едут, и он увидел угловой дом, тот самый, на который когда-то показывала ему мать, провожая на вокзал. Это был он. Теперь от его стеклянной вывески «Галантерея» остался торчать один осколок с буквой «Н».

– В этом доме был магазин «Галантерея»? Да?

– Наверно, кто его знает, – безразлично ответила кондукторша.

Ивкин спрыгнул с подножки трамвая и зашагал к дому. Как же это раньше не пришло в голову пойти к Саратовой!

На втором этаже дверь ему открыла совершенно седая женщина в стеганой телогрейке и валенках с обрезанными голенищами. Она пристально посмотрела на Ивкина, подняв очки на лоб, и, повернув его к окну, тихо проговорила:

– Погодите-ка, погодите!.. Никак?.. Ах, да это вы!..

Два часа неподвижно просидел Ивкин за столом, покрытым рябенькой, истлевшей клеенкой, вспоминал, что это их клеенка, с их кухоньки, и слушал Саратову не перебивая, не задавая вопросов.

Потом он выложил из вещмешка две буханки хлеба, консервы, масло, гороховые концентраты, сахар – весь свой паек, полученный в госпитале, и впридачу два куска мыла, пяток настоящих стеариновых свечей, постоянно бывших у него про запас. Сколько ни уговаривала его Саратова остановиться денька на два, он, ссылаясь на строгое предписание немедленно явиться к месту службы, простился с ней, захватив старую фотографию матери. Саратова неслышно вышла за ним в своих стоптанных обрезанных валенках на лестничную клетку и, опираясь о косяк двери, сказала вслед:

– Да хранит тебя судьба, сын. Я говорю это устами твоей матери. Пусть во всем будет тебе удача.

– Будем живы – свидимся, – попытался улыбнуться Ивкин.

Он уже вышел из темного подъезда, а она все еще продолжала стоять на лестничной клетке, и свободно гулявший в разбитых звеньях окон сквозняк колыбал пламя свечи в ее руках, и тени от перил то вырастали, то пропадали на стенах.

Затемнена и пустынна была улица. Лишь одно звучало в его ушах:

«Вскоре после того как снаряд попал в ваш флигелек, Анна Дмитриевна перебралась ко мне... К тому времени она уже работала со мной в отделе публичной библиотеки. Она умерла там, прямо среди книг... Вот ее вещи... Сумочка, шляпка, клеенка... Это осталось. А стулья и столик сожгли, топить было нечем. И флигелек ваш был растащен на дрова. Костя, я ведь чувствовала, что вы никакой не племянник, а сын Анны Дмитриевны. Помните тогда, на вокзале... Костя, вы видели моего Карла? Костя, неужели это он бил по нашему Ленинграду?.. Костя, я его родила, но это не он, не он... Не может быть!»

С полминуты Ивкин помедлил на углу дома, соображая, что же делать дальше – пойти ли сейчас разыскивать полковника Михайлова или же сперва устроиться с ночевкой у дворничихи тети Клавы.

Выбор пал на Михайлова – час был уже поздний, и полковник наверняка дома.

Ноги Ивкина двинулись как бы сами по себе, но весь он словно был прикован к дому с разбитой вывеской «Галантерея» по фасаду, и ему мерещилось, как каждое утро во вьюгу и непогодь страшной блокадной зимы в подъезде появлялись две старые женщины, две матери, и брели, держась друг за друга, на работу к своим книгам – к горам книг! – в публичную библиотеку. Зачем? Кому была нужна работа этих двух старых женщин, когда Ленинграду требовался хлеб, тепло, свет?..

Скажи ему кто-либо раньше, что публичная библиотека и не думала закрывать дверей, он едва ли поверил бы.

Нет. Не тихой смертью дистрофика погибла его мать. Ведь Саратова все время повторяла, что он может гордиться своей матерью.

И всю дорогу, пока он ехал к полковнику Михайлову, звучал рассказ Саратовой – печальная и героическая повесть борьбы за жизнь и победу, повесть, не поддающаяся быстрому пересказу, правдивая и честная, как сама жизнь советских людей.

Когда-нибудь и кому-нибудь он расскажет ее. Но это будет, по-видимому, в один из критических моментов, потому что он обратится к ней как к примеру человеческой стойкости и негибаемого мужества.

* * *

Полковник Михайлов принадлежал к той категории наших старых опытных военных специалистов, которым в начале войны поручили вести дела огромной важности.

Этот скромный человек всей своей внешностью – с мягким, чуть одутловатым лицом, располневший к сорока пяти годам, – не так уж строго подтянутый, с бесшумной походкой, скрадывавшей шаги, с сединой на висках, манерой говорить неторопливо, обдумывая каждое произносимое или выслушанное слово, – скорее походил на вузовского профессора.

И еще была у него одна особенность: о чем бы он ни заговаривал, какое бы задание ни ставил подчиненному, ни единым лишним словом, ни случайно сорвавшейся ноткой в голосе не выказывал сомнения, что задание его будет выполнено. О чем бы он ни говорил, пусть даже о самом отвлеченном, относительном, предполагаемом, взгляд его серых глаз цепко держал человека, с которым велась беседа. Казалось, какой-то особой, врожденной фокусировкой обладали его глаза, и это снова почувствовал Ивкин, встретившись с ним после довольно продолжительного времени.

Он нашел его по указанному адресу в большой пустой квартире многоэтажного дома на Фонтанке. Была ли это квартира самого Михайлова или принадлежала знакомым, а может, родне – он так и не понял, разговор не коснулся этого. Не коснулся и другого: зачем Михайлов прибыл в Ленинград. Да и так ли уж было необходимо знать?

Важно было иное. Как иногда неожиданно в военное время могла повернуться судьба! Встречался случайно на фронтовой дороге бывший твой командир – и всё! Вперед на Запад

ты шагал уже бок о бок с ним! Случалось такое с офицерами, случалось и с солдатами. В разные периоды войны и в различных обстоятельствах по-разному, по-особому. И не корысть какая-нибудь, не стремление спрятаться за спину своего бывшего командира, ставшего крупным начальником, двигало при этом людьми, но взаимное доверие, привязанность, знание друг друга, а то и чувство землячества. Что ж тут было плохого, коль такая встреча в конце концов шла на пользу дела.

Так получилось и у Ивкина. Из слов полковника он понял, что не только нужен ему, но и необходим. Что Михайлов доверит ему что-то большое и убежден не только в правильном выборе, но и в успехе выполнения будущего поручения...

– А теперь спать, спать! – несколько раз повторил полковник Ивкину, как только сообщил о решении взять его под свое начало. – Завтра поедешь в Москву... Я улажу с этим в соответствующих инстанциях сам, не беспокойся, но раненько поутру отправишься к коменданту города. Я уже побывал там, предупредил. Получишь направление. Так вот, едешь в Москву. А там – электричкой. Выходишь на станции... – и он тихо назвал ее. – Идешь правой стороной по ходу поезда. Затем – дорога в лесок. По ней шагаешь два километра. Увидишь двухэтажные каменные корпуса. Туда тебе и надо. Давно пора! А то околачивался где-то в переводчиках... Считанные недельки побудешь у нас, подучишься, а потом – с богом!..

Голова шла кругом у Ивкина. Известие о смерти матери – единственного близкого человека, встреча с Саратовой и ее рассказ о пережитом в дни блокады, Михайлов и ждущая впереди учеба, а затем работа в разведке долго отгоняли сон.

Но как только забрезжил первый утренний свет в окне, Ивкин был уже на ногах. Поезд, как предупредил с вечера Михайлов* уходил в Москву днем, а надо было успеть оформить направление.

– Я же малость здесь задержусь. В конце недели встретимся. Так что, едва успеешь осмотреться на новом-то месте, а я уже прибуду, – сказал на прощание Михайлов.

Глава 2

Моторы взревели, самолет вздрогнул и побегал по асфальтированной дорожке, наращивая скорость. Сняв кепку, Ивкин помахал ею перед маленьким оконцем. Он не заметил, как самолет оторвался от земли и внизу замелькали крыши домов, улицы, сады, огороды и крохотные люди. Все это уплывало, уносилось назад.

Придавленный сверху густыми облаками, самолет шел на север. Сидеть Ивкину было неудобно. Лямки парашюта стягивали плечи.

Ивкин осмотрелся и еще раз убедился, что в самолете он один, у ног его лежат крепко перехваченные ремнями большие ящики и темно-зеленые мешки, а немного подальше стоит обыкновенная железная бочка.

Город остался далеко позади. Под крылом самолета бежали поля, змеилась шоссейная дорога, разорванная разрушенным мостом через реку. Вот, чуть желтея, промелькнули полоса окопов и что-то похожее на пунктир, должно быть проволочные заграждения. Земля была покрыта какими-то поблескивавшими кружками.

«Да ведь это воронки с водой!» – догадался Ивкин.

Часа через два самолет уже летел над местами недавних тяжелых и кровопролитных боев. Участок принадлежал 3-му Белорусскому фронту, и Ивкин знал, что фронту этому в недалеком будущем предстоит перейти в наступление и пройти через тот самый городок, где ему приказано приземлиться и где он отныне должен будет находиться. Он мысленно прикинул, что если фронт перейдет в наступление через месяц или два, то его выход к своим может осуществиться не ранее как через полгода. Полгода – срок невелик, но в тылу у врага он покажется очень большим и томительным.

И снова волнение охватило Ивкина. Рисовались картины жизни в далеком белорусском городке среди незнакомых людей.

На нем было потрепанное, без пуговиц, с засаленным воротником черное суконное пальто и темно-серая кепка блином. На ногах – коричневые полуботинки, жмущие в подъеме. Под ногтями пальцев темнели полудужья набившейся грязи, а цвет рук свидетельствовал, что их хозяин имеет дело с металлом и маслами, человек он рабочий – слесарь, токарь или шофер. Четырех-пяти дней оказалось достаточно, чтобы натрудить их как следует. И ничего не подлаешь, пришлось научиться курить.

Ивкин усмехнулся тому, как не похож он на советского разведчика, забрасываемого в тыл врага с картой, компасом, рацией, пистолетом, а то и двумя, с запасом шоколада, деньгами и прочим. Ничего, никакого багажа при нем не было. В кармане лежали лишь документы человека, уже несуществующего в живых, да пачка немецких сигарет.

А между тем совсем стемнело. Лишь впереди ярко обозначалась светлая полоса западной части горизонта. Значит, самолет поворачивал на запад.

Ивкин встал, но тяжелый парашют заставил его снова сесть. Он посмотрел вниз. Земли не было видно. Еле заметно мерцали какие-то огоньки. Монотонный гул моторов и чувство одиночества действовали угнетающе. Экипаж самолета, казалось, не интересовался им и молча продолжал делать свое дело, должно быть считая пассажира лицом значительным, если его провожали несколько человек во главе с полковником. А может быть, летчики уже не раз забрасывали в тыл врага наших людей и были хорошо проинструктированы, как вести себя с ними. Они не спросили ни имени, ни фамилии, не поинтересовались, куда и зачем он летит через линию фронта, и, наверно, помнили только об одном: когда надо будет подать ему команду «Пошел!»

Он снова, в какой уж раз, мысленно представил себя в роли разведчика, о которой никогда раньше не задумывался и не мечтал. Да и можно ли было ему еще несколько месяцев назад

предположить, что вдруг окажется в партизанском крае, а затем и в самом логове врага. И главное, не будет совершать ни диверсий, ни нападений, не будет скрывать рацию где-нибудь в лесу под корягой, а станет представлять из себя простого жителя, смирившегося с оккупацией и состоящего на службе у местных оккупационных властей.

Все это казалось невероятным.

Но сейчас его тревожило другое. Он, по существу, не знал, с чего предстоит ему начать в том городе, куда направлен. Этого никто не мог точно подсказать.

– Рецептов на все случаи жизни не изобретешь, – слышался ему голос Михайлова. – Что сегодня хорошо и уже испробовано, завтра – старо, известно врагу и никуда не годится. Конкретная обстановка, ее изучение на месте – это и будет основой, это и будет условием для работы.

Перед ним ясно вырисовывалась лишь общая задача и первые шаги на временно оккупированной фашистами территории, но пути выполнения этой задачи оставались неизвестными, неведомыми. Над ними придется много думать уже там, на месте.

Прежде всего, потребуется выработать линию поведения. Нужна ли плановость? Конечно. Но она должна быть специфической. То, что предстоит ему делать, трудно обусловить рамками времени. Надо будет действовать так, чтобы к намеченной цели подойти осторожно, но уверенно, устремлено и каждый день получать какую-то долю, может быть, крупицу того большого, целого, к которому стремишься...

Под легкое подрагивание самолета и монотонный гул моторов Ивкин через крохотное оконце пытался рассмотреть землю, но видел только темную бездну ночи, скользившие вдаль лучи прожекторов и мелькавшие частые и беспорядочные, быстро гаснувшие вспышки разрывов зенитной артиллерии. «Вот какое мое новое боевое крещение, – усмехнулся он. – Частое мерцание – это, наверно, зенитные пулеметы, а то, что пореже, – пушки...»

Его наблюдения прервались. Открылась дверь, которая вела в кабину летчиков, и из нее вышли двое.

– Не замерзли, товарищ? Спите?

– Нет, – ответил Ивкин. – А что, подлетаем? – с волнением спросил он и не узнал собственного голоса. – Садиться будем или?..

– Пока не известно, – ответил тот, кто спрашивал. – Прикройте окно – свет зажжем.

В потолке вспыхнула небольшая лампочка. Говоривший поправил занавески и, подойдя к ящикам и мешкам, осмотрел их. Так он проделал со всем грузом, должно быть подготавливая его к сбросу с принудительным раскрытием парашюта. Тем временем второй возился у двери, откручивая и откидывая рукоятки, и за кольца стал цеплять груз на металлические тросики, соединенные с тросом большего сечения, натянутом вдоль фюзеляжа самолета. Так он поступил со всем грузом.

«Может, и меня сейчас, – мелькнуло у Ивкина. – Прыгать. Не повезло!» Но он старался не выказать беспокойства.

– Что это вы делаете? – все же спросил он.

– Да вот, готовим. Наверно, бросать придется, – последовал ответ.

– Бросать?! Что, нет сигналов?

– Сигналы-то есть, да что-то не нравятся нам, – посмеиваясь, проговорил возившийся у дверей. – Вот неделю летаем и сесть не можем... Сволочь этот фриц! – кивнул он в сторону земли.

Неожиданно раздался гудок. Ивкин вздрогнул.

– Сидите, – тронув его за плечо, сказал цеплявший груз. – Еще рано.

Он говорил так спокойно, будто перед ним был не человек, а тоже груз и для них не составит труда вслед за каким-либо мешком толкнуть и его.

– Что за гудок? – спросил Ивкин.

– Это сигнал «Приготовиться».

– Приготовиться? – переспросил Ивкин, сглотнув комок в горле, и, поправив кепку, взялся за кольцо парашюта. Нервы его были напряжены. «Значит, ноги вместе... прыгаю... раз, два, три... дергаю кольцо... разворачиваюсь по ветру. Ноги вместе... слегка поджать при соприкосновении с землей... падать на бок... Да что я, не прыгал, что ли!»

– Эй, товарищ, не держитесь за кольцо! Парашют распустите в самолете, тогда и прыгнуть не придется. – И после паузы летчик добавил: – Потом не докажешь, как произошло – случайно или умышленно. Это как самострел на фронте будет рассматриваться.

Рука Пекина разжалась. Он положил ее на колено. Ладони были влажны от пота.

«Скорей бы!..»

Вот самолет клюнул, и почти одновременно раздалось два коротких гудка. Зажглась зеленая лампочка, и снова раздался протяжный сигнал. Ох это протяжное гудение!.. Пекину хотелось вскочить и заглушить его. Дверца самолета распахнулась. Стоявший возле груза рванул какую-то ручку, что-то щелкнуло, груз освобождался от крепления и полз к дверце. Вот его развернули, толкнули, и он как-то нехотя перевалил через порог и скрылся в темноте. Тросик резко натянулся – раздался щелчок – и ослаб, загнувшись спиралью.

Один из летчиков посчитал тросики, осмотрел их, сказал: «Все в порядке» и ушел обратно в кабину. Второй, захлопнув дверцу, последовал за ним.

– А я? – сдавленно проговорил было им вслед Ивкин, но летчики, должно быть, не слышали его – ответа не последовало.

Лампочка погасла. Ивкин снова очутился в темноте. Нашупав занавеску, отдернул ее, посмотрел в окно. Снаружи было светлее. Самолет делал крен и, казалось, шел вверх, как вдруг внизу показались огни. То были костры. Три в ряд и по одному по бокам. Но и они остались позади, когда опять открылась дверь и вышли все те же двое.

– Вот теперь твоя очередь, дорогой товарищ, – сказал недавно предупреждавший Ивкина не держаться за кольцо парашюта. – А то спешил! Всеу свое время.

Летчик осмотрел его со всех сторон, потрогал крепление парашюта, нахлобучил до ушей кепку, дружески похлопал по плечу и уже весело продолжал:

– Видать, новичок в этих делах? Ничего! Без привычки трудновато, а привыкнешь – ничего... Некоторые уже по несколько раз окунулись. Туда... – и он кивком показал на дверцу.

– Вам хорошо, у вас почва под ногами, а у меня ее скоро не будет...

– Не бойся, у нас такая же почва, как и у тебя. Даже твоя лучше. Сейчас прыгнешь – и дома... А нам обратно топать... Понял? – многозначительно сказал разговорчивый.

Прогудели два коротких сигнала.

– Ну, готовься, браток. Не забудь считать до трех и дергай. Помни – не раньше! Не то хвостом зацепим, и тогда поминай как звали. А приземляться будешь, смотри, ноги – вместе. Вот так. – Теперь уже показал помалкивавший. – Как только почувствуешь землю – сразу на бок и гаси парашют, чтобы не таскал, а то утянет, обдерет обо что попало – мама родная не признает. Инструктировали, наверно, прыгал...

Самолет накренился. Ивкин нетвердо шагнул к дверце.

«Прыгну сам. Не допущу, чтобы столкнули. Смеяться будут. Михайлову скажут: сдрейфил ваш лазутчик, сбросили вроде тюка... Нет, только сам!»

Раздался сигнал, вспыхнула зеленая лампочка.

И вот перед Ивкиным разверзлась зияющая черная бездна. Рука его сама по себе судорожно схватилась за вытяжное кольцо:

– Счастливо, товарищ! – сказали одновременно оба и слегка подтолкнули.

«Прощайте, друзья», – хотел ответить Ивкин, но тугой поток воздуха плеснул в лицо, не дав заговорить. Он задохнулся, сжал челюсти, начал считать: раз... два... и сильно рванул за кольцо.

Послышался шелест, затем сильный толчок приостановил стремительное падение – он повис, открыл глаза и только сейчас заметил, что прыгал с закрытыми.

– Ну, кажется, все в порядке, – довольно пробормотал он, ощутив легкость и даже невесомость своего тела. Странно, но ему захотелось запеть, засвистеть, закричать.

А внизу все так же горели пять костров, разливая тусклый свет. Тишина была такой плотной, будто кто-то сильно сдавливал уши. Ивкин уже не слышал гула самолета, ушедшего на восток, и думал о том, что летчики сегодня же позвонят Михайлову. «Все в порядке, товарищ полковник, – скажут, – сбросили». Что-то он им ответит? Наверное: «Молодцы, спасибо за службу!»

В темноте стали слабо различаться контуры леса, еле вырисовывающиеся острыми зубцами на фоне ночного неба. Всматриваясь вниз, где в тусклом отсвете костров металась тень, Ивкин готовился к приземлению.

Внизу кто-то суетился, сбивая пламя. Искры разлетались в стороны. Земля, лес, тени, костры приближались быстро. Ивкин ждал толчка о землю. Все его внимание было приковано к ногам и земле, набегавшей на него. Он помнил, что приземление должно быть правильным, иначе – перелом ног, а тогда уж не до работы.

Он предполагал еще, что его приземление встретит чуть ли не целая рота партизан, а оказалось, встретил-то всего только один молодой вихрастый парень.

– Вот и пришли, – сказал парень, останавливаясь в густых зарослях кустарника, окаймлявшего поляну с редкими березками посередине. – Вам вон туда, – указал он в направлении роши. – За ней «железка», а потом уж и сами знаете...

– Спасибо, – поблагодарил Ивкин, рассматривая провожатого, в поношенном военном бушлате и кирзовых сапогах.

На нем, хоть была уже весна, лихо, набекрень, сидела шапка-ушанка, из-под которой выбивались непослушные рыжеватые кудри. На груди висел автомат, у пояса подстегнуты две гранаты. И парень с таким же любопытством рассматривал Ивкина, по-видимому зная, куда и зачем тот прибыл. Его взгляд был добрым и сочувствующим, желающим удачи.

– Ну, прощай, друг, передавай привет своим. Бывай!.. – подал ему руку Ивкин и кивнул в сторону леса, из которого они только что вышли. – Может, и свидимся когда.

Больше они не сказали друг другу ни слова.

Глаза парня заблестели. Он несколько раз пожелал счастливого пути и скрылся в кустарнике.

Ивкин остался один. Прежде чем сделать шаг, он бросил взгляд на заросли, куда нырнул вихрастый, осмотрел поляну.

Впереди росли березы и еще какие-то деревья. Справа торчали кочки болота, слева чернел след проехавшей, должно быть, еще осенью телеги и валялись сучья. Пожухлая прошлогодняя трава шелестела под ногами. Позади тревожно шумел старый большой лес, казавшийся пустынным и загадочным.

Что знал Ивкин о тех, кто этой ночью выслал своего товарища, чтобы встретить его и указать дорогу? То, что они – его большие друзья?

Да, пожалуй, только это.

Он не знал ни имен их, ни фамилий. Парень уклончиво назвался Иваном, но чувствовалось, что это вовсе не его имя.

А сколько бы можно сказать им! Сказать, как надеялся на них, когда несколько часов назад садился в самолет. Сказать, как давно восхищался ими, их борьбой, в которой они* не задумываясь, отдают свои жизни.

Впрочем, зачем бы это все говорить, они и так прекрасно знают, как трудна их борьба в тылах у противника. Известны им и песни, которые сложил о них народ. Все знают. И то,

что они – гордость непокоренного народа, смелы, решительны, беспощадны, как сама кара народная, к предателям.

Скорее всего, они бы сказали ему: задумайся о себе, друг, ведь и ты не просто боец. Подумай-ка, тебя ждут трудности, может быть, большие, чем нас. Ты – разведчик. Тебе все время держаться скрытно. Это мы держимся все вместе, а ты будешь один среди врагов. Совсем один! Будешь находиться рядом с фашистскими офицерами, полицейскими, изменниками. Будешь разговаривать с ними, улыбаться им, пожимать им руки.

Но к открытым действиям против них ты не перейдешь. Не имеешь права. И тебе будет трудно, очень трудно. Живя среди врагов, ты окажешься свидетелем их зверств, горя и страданий народа, а не сможешь мстить немедленно и в открытую, ибо обязан помнить: разведчик! – задача твоя особая, и лишь в самом крайнем случае, когда не останется выхода, можешь воспользоваться оружием. Так что вот, брат Ивкин, оружие свое, если оно у тебя имеется, ты припрядь, оно тебе ни к чему, врагов много ты не настреляешь, оставь это дело нам и живи себе в городке, работай там, как тебя учили, мы тебя не знаем, а ты нас! И прости, товарищ, за то, что не погостил ты среди нас в нашем лесу.

Выбравшись из кустарника, Ивкин обошел небольшой бугор, на который хотел было уже подняться, чтобы пошире взглянуть на местность, но не сделал этого из предосторожности. Кто знает, возможно, враг уже давно подстерегает его. Светало.

Слегка пригнувшись, Ивкин перебежал от куста к кусту. Впереди открылась равнинка. Он подумал, что пересечь ее можно будет только с наступлением сумерек, затем незаметно добраться до видневшейся вдалеке рощицы, а там – и до будки железнодорожного обходчика. Шорох листьев, утренняя возня птиц в ветвях, щебет – все настораживало, и рука невольно тянулась в карман, хотя пистолета там не было.

Так и явится он в город, как есть, в кепчонке и этом потрепанном пальто без пуговиц – в том самом, которое недавно носил некто Константин Петрович Кузьмин, по профессии автомеханик, а по должности машинист железнодорожной водокачки станции Столбцы. Его документы лежат в нагрудном кармане.

Вот тогда надо будет держать ухо востро. Один-единственный необдуманный шаг, или жест, или нечаянно оброненное слово могут бесповоротно решить его судьбу. Разговор будет коротким...

Но нет, он не Ивкин больше, он – Кузьмин со станции Столбцы, а история его такова.

После взятия Гомеля осенью прошлого года он бежал и обосновался в Столбцах. Помог полицейский Васюков, старый его приятель по работе в гомельском гестапо. В Столбцах работал машинистом на станционной водокачке и по заданию штурмбанфюрера Швальбе вошел в партизанское подполье и предал его. Он полагал уже, что это сошло ему с рук, но в одну из мартовских ночей, когда дежурил на водокачке, на станцию был совершен партизанский налет. Удалось скрыться, а Васюков погиб. Полтора месяца пришлось отсиживаться у одной молодайки, которую позднее убил топором, заподозрив, что она намерена выдать его партизанам.

Куда было податься? В Минск, чтобы явиться к штурмбанфюреру Швальбе, раз или два приезжавшему в Столбцы, но ни разу не вызывавшему к себе?

Ехать в Минск он посчитал неразумным.

Побоялся. Партизаны или подпольщики выследили бы.

Оставалось одно: перебраться дальше на запад, осесть в каком-нибудь небольшом населенном пункте или опять на станции и снова стать полезным германской армии.

Вот он и ехал в вагоне для немецких гражданских пассажиров, прицепленном в хвосте воинского эшелона, подорванного партизанами на тридцатом километре пять дней назад.

Такова его история. Ее-то он и должен рассказать, где следует, когда прибудет в городок. Документы Кузьмина при нем, и роль его, окончившего свою жизнь у стенки, надо сыграть отлично.

Что же во всей этой истории было правдой, а что вымыслом, который ни в чем не должен уступить самой правде?

Все происшедшее с Кузьминым до налета партизан на Столбцы и сам налет соответствовали действительности. Был и сам факт убийства топором какой-то женщины. А последующее придумано для разведчика, чтобы он мог войти в его облик, продолжить жизнь и деятельность предателя. Настоящий Кузьмин был схвачен партизанами при налете, и они переправили его на Большую землю. Это произошло в марте. Сейчас конец апреля. Таким образом, Ивкин больше месяца сживался с его документами, изучал их хозяина, входил в его облик, привыкал к манере держаться, говорить, ходить, смеяться и еще ко многому, что постепенно выяснилось в процессе изучения и допросов предателя нашими разведорганами.

«Скорее добирайся, Кузьмин, до железнодорожной будки!» – сказал себе Ивкин.

От удачной встречи с обходчиком зависел весь остальной путь до городка. Если все сложится благополучно и он доберется до будки незамеченным, то в городке будет не позднее завтрашнего дня. Но путь между местом приземления и будкой обходчика самый опасный. Не исключено, что возле железной дороги у гитлеровцев разбросаны засады.

Сидеть и ждать приближения вечера было томительно. «Скорей бы темнело», – торопил время Ивкин. Он все еще продолжал думать, почему партизан не побыл с ним, не поговорил, а лишь показал дорогу к будке и ушел. Видимо, так ему было приказано в целях конспирации: никто не должен был даже случайно увидеть парашютиста в обществе кого бы то ни было. Теперь он – Кузьмин, спасшийся после крушения, ищущий возможность доказать, что снова будет полезным немецким властям.

Долго тянулся день. Наконец солнце опустилось к горизонту. Его оранжевые лучи осветили верхушки деревьев, придали лесу и полям какую-то особенную, мирную, успокаивающую окраску. От берез, кустов, голых косогоров поползли тени, удлинняясь и чернея.

Кусты, в которых расположился Ивкин, надежно скрывали его. Он еще утром приметил длинную ложину, извивавшуюся к западу. Возможно, в ложине была вода – хотелось пить. На отлогах, обращенных к северу, еще сохранился снег. «Хорошее место для пастбища», – подумал Ивкин и вспомнил, как приходилось ему мальчишкой пасти в деревне коров. Пас он, как все, отбывая очередь: колхозники в тот год пасли по очереди. Вспомнил, как тоже, бывало, с нетерпением ждал захода солнца, чтобы погнать домой скот.

«А Михайлову, наверное, известно, что приземлился. Сообщено: „Прибыл к месту службы благополучно“».

Ивкин сидел, опершись спиной на корявый сук куста. От долгого нервного напряжения и дум клонило ко сну, но он опасался заснуть – холодны апрельские сумерки. А хотелось вздремнуть, дать голове отдых хоть на часок.

В полудреме как бы заново пережил свой прыжок – ощутил явственно и рывок парашюта, и плавный спуск. Потом перенесся домой – и перед ним всплыл образ матери.

Ивкин очнулся от какого-то внутреннего толчка. Вокруг было тихо, мертво. Он запрокинул голову и взглянул на небо. Оно было чистым, звездным. Справа виднелся ковш Большой Медведицы, все такой же, каким он знал его в детстве, каким еще позавчера вечером видел над затемненной Москвой...

Часы показывали около десяти.

«Пора, Петрович, в путь», – сказал он себе, медленно поднялся и сделал шаг. Затем еще, еще и еще – и пошел по едва видимой тропке к ложине, которую облюбовал засветло. Остативался, прислушивался.

Тихо. Лишь слышалось биение собственного сердца.

Вот и куст с двумя березками. От него он повернул чуть вправо. Ивкин никогда не ошибался и хорошо запоминал местность, где хоть раз приходилось побывать. А эту он изучал не

менее двух часов. Однако незнакомый путь всегда кажется длинным. Оттого, может, что идущий только и думает – скоро ли он дойдет?

И Ивкину казалось, что идет он долго. Лощина должна была уже начаться, а ее все не было. Заблудиться же – значило пропасть, ведь неизвестно, куда бы он вышел и на кого набрел. Вокруг все было погружено в глубокий сон. Только он один двигался в вечерней мгле, вслушиваясь в шелест сухой прошлогодней травы под ногами.

Внизу блеснуло зеркальце воды. Из лощины тянуло сыростью, пахнувшей талым снегом. Он остановился, присел и, почувствовав, что голоден, начал жадно есть сунутые ему в карман парнем-партизаном хлеб и вареное мясо. И хлеб, и мясо были сухими, но ароматными и удивительно вкусными. Ему показалось, что никогда в жизни он не едал ничего более аппетитного.

Роща встала перед ним, как только он перешел лощину. Верхушки деревьев отчетливо вырисовывались на фоне вывездевшего вечернего неба. То была даже не роща, а неширокая лесополоса вдоль железнодорожной линии. Дальше минут пятнадцать ходьбы, как говорил партизан, и будет дорога, выходящая на переезд возле сторожки обходчика. На переезде мог быть немецкий патруль, хоть партизан уверял, что немцы патрулируют только на перегоне, где недавно произошло крушение.

Ивкин пошел крадучись от дерева к дереву и наконец очутился в какой-нибудь сотне шагов от будки путевого обходчика. Он быстро пересек железнодорожное полотно. Калитка, собранная из кольев, скрипнула, раздался собачий лай, заставивший его поспешно отступить. Ведь о собаке никто ему не говорил, может, он ошибся, не туда забрел? Нет, все как будто так, все – как было. обрисовано: будка, старый вяз, две копны сена, скворечник на шесте... Нет, все так. А вот о собаке, наверное, забыли.

Ивкин почмокал губами, но кобель, пошевелив кончиком носа и получив последнюю достоверную воздушную справку, что перед ним чужой, поднялся на дыбы, с еще большей яростью стал бросаться на изгородь, пока не послышался скрип открывающейся двери.

– Чего разбрехался! – проговорил вышедший из будки.

Голос был певучий, мягкий, но собака, вместо того чтобы замолчать, залаяла громче, приняв слова хозяина за поощрение.

– Кто там? – последовал окрик.

Ивкин приглушенно отозвался. Услышав незнакомый голос, собака снова с хрипом кинулась к калитке.

– Пошел вон! – нагнувшись и что-то подняв, замахнулся на нее будочник.

Пес на мгновение примолк. Ивкин приблизился к изгороди и очутился лицом к лицу с будочником, сразу убедившись, что это и есть дед Остап.

– Вот шел, шел и зашел, – сказал он слово в слово, как обязан был начать. – Нельзя ли переночевать?

– Куда путь-то держишь и откудова идешь, милый? – спросил Остап, и Ивкин удостоверился: это вопрос пароля.

– Из Столбцов. А вообще с востока.

– Та-ак, – протянул дед. – Стало быть, с востока? – И задумался. – А чего так поздно? Время-то на твоих сколько?

Ивкин вскинул руку с часами к глазам. Было около двенадцати.

– То-то, – сказал Остап. – Ну, проходи, коли так. Долго не шел, – уж тише добавил он. – Жду с самого вечера. Беспокоился...

Собака не лаяла, а шла рядом, помахивая хвостом и засматривая в лицо хозяина. Остап наклонился, ласково потрепал ее и приказал отправляться на место. Пес медленно поплелся в конуру у крыльца, косясь на незнакомца.

– Мне что-то ничего о собаке не говорили, – заметил Ивкин.

– Не знают. Ведь не ходят оттуда... – И Остап головой указал в сторону, откуда явился Ивкин. – Ну, милости прошу в хату. А собака в моем бобыльном хозяйстве большая необходимость. Как же без собаки-то? Сторож хороший, сигнальщик. Ее тут как-то немцы чуть не ухлопали, теперь за километр их чует.

– Заходят? – спросил Ивкин.

– Бывали часто. После крушения-то наехало невесть сколько. Допрашивали. Но дня три, как нету. А ночами совсем перестали. Ночами бояться, и поездов не пускают. А рассветет – поезд за поездом, поезд за поездом... Не успеваешь флажком отмахивать... Так, к примеру, и живу.

Вошли в будку. Остап чиркнул спичкой и зажег лампу-трехлинейку, висевшую над столом. Она закачалась, ее слабый свет вырвал из темноты и его самого, и скучную обстановку жилья.

Направо у входа была плита с двумя комфорками. Стол, заняв почти всю комнатушку, был заставлен грязной посудой, на нем валялись корки хлеба, рыбы головы и кости. В алюминиевой миске с ополосками плавали окурки. Посреди стола чернел закопченный чугунок, покрытый дощечкой. Табуретки вокруг стола стояли в беспорядке, створки самодельного шкафчика, вделанного в стену, распахнуты. На кровати было что-то накидано.

Ивкин снял кепку и повесил на ржавый шар кровати спинки.

– Ну, вот я и у вас, – со вздохом проговорил он. – А завтра потопаю дальше.

– Завтра... – согласно и раздумчиво отозвался Остап. – Ты извини, милый, за беспорядок, – и он обвел вокруг рукой, – делается нарочно. Чистота мне не с руки. Будет чисто – немцам может понравиться, поселят караул или пост. Скажу больше: клопов завел. Специально за ними в деревню ходил и в коробке принес. Полный коробок. И подавил где попало на стенках, чтобы в глаза бросалось. А по правде-то, у меня ни одного не было.

Ивкин рассмеялся. Ему захотелось поговорить со стариком, узнать, почему он одинок в своей будке, есть ли у него семья, но посчитал расспросы неуместными.

– Что ж, спать, что ли, будем стелиться? Сейчас приготовлю. У меня ведь и чистое найдется. Это сверху набросано старье, чтобы какой фриц не улегся. Да звать-то тебя как? – спросил Остап, достав откуда-то свежую простыню.

– Константином, – откликнулся Ивкин, не добавляя фамилии, и остался благодарен деду за то, что он этим ограничился.

– Вот, Костюшка, ложись, тебе отдохнуть как раз.

– А далеко до города? – спросил Ивкин.

– Поездом часа полтора, а пешком...

– Ну, папаша, на такое расстояние сейчас пешком не ходят.

– Это верно, опасно. Спи. Завтра решим, как добраться. Найдутся люди, подвезут.

– Даже так?

– А почему бы и нет? Позвоню. Сообщу. В город, стало быть. Скажу, приболудился какой-то Кузьмин. От партизан скрывается. Ответят, как с тобой быть. Может, приедут, может, вызовут.

То, что дед Остап назвал его новую фамилию, не показалось Ивкину странным: значит, все подготовлено.

– А как же? – продолжал дед. – Все сделаем. Приказ – закон.

Сбросив пальто и пиджак, Ивкин сел на кровать и стал раздеваться.

– Я на лавке бы, а вы здесь, – сказал он.

– Ну нет! Ты гость, – возразил Остап. – Тебе обязательно надо на перинке. Завтра-то, может, в гестапо на цементном полу уложат. Успеешь поваляться на твердом.

– И такое возможно, – крикнул Ивкин, чувствуя, что быстро ему не заснуть.

Долго еще велся у них негромкий разговор, то прерываясь, то возобновляясь. Обдумывали, обговаривали. Все выглядело естественно, нормально. У полиции и гестапо не должно возникнуть никаких сомнений, что перед ними Кузьмин из Столбцов, оставшийся в живых после недавнего крушения и избежавший мести партизан.

Наконец перед рассветом дед Остап повернулся лицом к стенке и мгновенно захрапел. Ивкин же все лежал с открытыми глазами, пытаясь представить себе городок, в который придет завтра, и то, как впервые увидит полицейских и свастику на рукавах у гестаповцев... По городу маршируют колонны войск с танками, артиллерией. Надо будет узнавать точно, куда идут войска, откуда... Он станет свидетелем арестов, облав, расстрелов, грабежей, кровавого жестокого режима оккупантов. Он, Кузьмин, подчинится ему, но против него же поведет скрытую, неравную борьбу... У него найдутся хорошие помощники... Найдутся... Но откуда их взять? Как обосноваться в городке? С чего начать, где жить и работать?

Ответы не приходили. Их должна подсказать сама жизнь, говорил ему Михайлов.

Ивкин представил его размеренную поступь, его спокойный взгляд.

Глава 3

Ровно через неделю после того, как в районе тридцатого километра партизанами был пущен под откос эшелон, в три часа пополудни у перрона вокзала остановился товарный поезд, следовавший с востока. С площадки вагона спрыгнул мужчина, одетый в черное драповое, изрядно поношенное пальто. Серая кепка с масляными пятнами на козырьке низко нахлобучена на лоб. Ему можно было дать не больше тридцати, несмотря на усталый вид. Небритое лицо и покрасневшие от бессонницы глаза придавали взгляду суровость и затаенную сосредоточенность. Он кивнул в знак благодарности машинисту, подумав: «Свой, раз Остап подморгнул ему», и, минув здание вокзала, направился прямо в город, заметив на ходу, что название станции снято.

Перрон был пуст. Лишь дежурный по станции стоял возле паровоза, переговариваясь с машинистом, да трое солдат перекачивали через железнодорожное полотно железную бочку с бензином. Ни одного полицейского! И это хорошо. Ему особенно не хотелось встретиться с ними, хотя внутренне он был готов к такой встрече, считая ее неизбежной, и успокаивал себя: часом раньше, часом позже – все равно ее не миновать!

Это был Ивкин. Он вышел на привокзальную площадь, ничем не выдавая, что впервые вступает на нее. Да и все вокруг было как бы уже знакомо. Знаком трехэтажный дом с небольшим магазинчиком «Люкс» и рестораном «Отрада» в полуподвале. Знаком сквер с постаментом из-под снятого памятника. Знакомо белое здание бывшего Дворца пионеров, примыкающее к красному двухэтажному дому железнодорожников.

За ними должна была находиться гостиница и снова ресторан, а напротив улочка под названием Тихая, на которой будет особняк бывшего краеведческого музея, занятый теперь под гестапо. Молодец этот дед, толково рассказал где что и как! Даже про хромую козу говорил, которая жрет расклеенные на заборах приказы городских властей. Вот и сейчас, стуча копытцами по круглой фанерной тумбе для афиш, она преспокойно тянулась к какой-то свежевывешенной бумаге.

Ивкин повернул к гостинице. Пешеходов было мало, и все они озабоченно и настороженно куда-то спешили по своим делам, но Ивкину казалось, будто каждый из них исподлобья следит за ним, каждый знает, кто он и зачем явился сюда. Становилось не по себе. Ивкин гнал прочь назойливые мысли, а они навязчиво и тягуче снова лезли ему в голову.

Легкий озноб не покидал его.

Миновав площадь, он очутился на одной из улиц и смешался с пешеходами, которых здесь оказалось значительно больше, чем у вокзала, заметил, что названия улиц и указатели дорог на немецком языке, и про себя выругался: «Надолго решили обосноваться, сволочи!»

По улице торопливо пробежали запыленные легковые автомашины самых невероятных цветов, сновали велосипедисты и мотоциклисты, проходили, чеканя шаг кованым сапогом, патрульные с автоматами на груди.

Вдруг послышался лязг гусениц и заставил Ивкина приостановиться. В сторону вокзала грохочущим потоком прошли танки и тягачи с пушками. На транспортерах плотными рядами сидели солдаты. Безразличные взгляды их выражали лишь одно: им все едино, куда и зачем их везут... На бортах машин броско выделялись изображения зверей, хищных птиц, разных форм кресты, номера и просто геометрические фигуры.

Ивкин определил, что прошли подразделения мотопехотного полка, а за ними – артиллерийский дивизион и танковый батальон. Следовательно, где-то здесь дивизия. Вот и данные! Но данные эти пока не смогут быть переданы, хотя, может быть, кто-нибудь другой их уже передает...

Ему надо было дойти до особняка, что против гостиницы. При мысли о нем сердце тоскливо заныло. Ивкин никак не мог представить, с чего начнет, что скажет, и все еще полагал, что его обязательно задержат на улице и проверят документы.

«Штильштрассе, – прочитал он на чугунной ограде особняка и тут же перевел: – Тихая».

За оградой высились старые осины со множеством грачиных гнезд. Земля под деревьями и асфальтированная дорожка были заляпаны пометом. Грачи хлопотали над гнездами и пронзительно кричали.

Это был обычный особняк старого, дореволюционного типа с массивным парадным подъездом. Окна его оказались занавешены кремовыми волнистыми шторами, и ни вывески, ни надписи на двери не было. Она была плотно закрыта, и около нее стоял, опершись спиной о косяк проема и заложив руки за спину, полицейский. «Кто?.. Русский? Немец?»

Ивкин решительно шагнул, занес ногу на ступеньку, вторую – и очутился лицом к лицу с полицейским.

– Куда? – грубо спросил тот по-русски, преграждая путь и отводя руку Ивкина от дверной скобы.

– Туда! – тем же тоном ответил Ивкин и сделал шаг вперед.

«Вот он, враг, рядом с тобой, но ты пока не можешь его уничтожить. Так смотри же, запоминай его, чтобы не упустить».

Так впервые Ивкин увидел предателя на расстоянии вытянутой руки.

– Куда «туда»? – зло переспросил полицейский. – Вызывали, что ли?

– Вызывали, – спокойно ответил Ивкин и, толкнув дверь ногой, очутился в слабо освещенном коридоре, где после дневного света не сразу смог разобраться, куда идти дальше.

В открытую дверь одной из комнат он увидел деревянный барьер, а за ним – полицейских, громко разговаривавших на русском и немецком языках. В комнате на стене висела доска с наклеенными бумагами, очевидно распоряжениями, приказами, – старая, в рамке, служившая раньше для стенгазеты.

На миг он все же усомнился в целесообразности своего прихода. Может, лучше бы не заходить, а так – потеряться в городке и как-нибудь прижиться. Но нет. Его же здесь ждут. Ведь звонил же Остап...

Ивкин приблизился к барьеру. Один из сидевших нехотя поднял голову и, взглянув на него мутными глазами, недовольно произнес:

– Ты к кому?

– Я... я, – начал было Ивкин нарочито робко. – Мне бы повидать начальника. – И как только мог подобострастней посмотрел на остальных полицейских.

Они не обращали внимания.

– Ты что – в первый раз?

– Да, впервые.

– Садись и жди. Сейчас доложу, – сказал полицейский. Надев фуражку, он вдруг спросил:

– Да. А кто ты?

– Кузьмин Константин Петрович, из Столбцов.

– Из Столбцов? – переспросил полицейский.

– Из Столбцов, – повторил Ивкин и присел на скамейку у стены. – Обо мне уже звонили в железнодорожную полицию.

– Так и шел бы в железнодорожную. Зачем сюда?

– Дело важное.

– Ну ладно, – кивнул полицейский и удалился.

Окна выходили во двор. Решетки на них соседствовали с кремовыми занавесками. Что находилось во дворе – не было видно. Стены, когда-то белые, сейчас посерели от пыли и табачного дыма. В простенке висел портрет Гитлера, облаченного в военный мундир.

– Иди.

– Куда?.. – вздрогнул Ивкин.

– Как куда? Куда пришел, туда и иди. Вторая дверь налево к гауптштурмфюреру Эрнсту Фишеру.

Небольшой кабинет удивил Ивкина тишиной и прохладой. Солнечные лучи пробивались сквозь шторы, освещая угол полированного стола, за которым сидел человек в форме эсэсовского офицера. Вот он какой, этот Фишер! Но большая часть комнаты оставалась затемненной. Стол стоял в глубине, а около него два обитые клеенкой мягких кресла. У стены шкаф и несколько простых стульев. Темно-зеленая ковровая дорожка вела к столу и была довольно-таки исшаркана, особенно у двери и стола, вероятно, от частых поворотов помощников Фишера, являвшихся сюда на доклад.

Фишер просматривал бумаги, будто не замечая вошедшего, хотя на стук ответил сразу: ждал, чтобы вошедший обратился к нему. Но Ивкин остановился в двух шагах от стола и молчал. Наконец Фишер поднял голову и с деланной улыбкой спросил по-немецки:

– Чем могу служить?

– Як вам, герр гауптштурмфюрер, – сделав еще шаг, ответил Ивкин, желая угадать, какое впечатление произвело его знание немецкого языка на гауптштурмфюрера, и полагая, что тот пригласит сесть.

Но этого не произошло.

Тогда Ивкин сказал, кто он, как попал в городок и что просит у герра гауптштурмфюрера.

* * *

...Ивкин повернулся и застонал от нестерпимой боли во всем теле, и первое, что пронеслось у него в мыслях, было: «Неужели догадались? Неужели с первого же шага все пропало?.. Зачем я пошел? Надо бы найти пристанище – устроиться с жильем и работой без их помощи!»

Превозмогая боль, он пошевелил руками, ощупал ноги и, приподнявшись на локоть, осмотрелся вокруг. Лежал он на сбитом из горбылей щите. Узенький лучик света из крошечного оконца упирался в бетонную сырую стену. По всей видимости, это был подвал.

Ивкин облизнул губы и почувствовал соленый привкус крови. «А все-таки жив, жив!» – прошептал он и сомкнул веки. Мысли теснились в голове. Он вспоминал, как внезапно, видно, после того как Фишер нажал кнопку, в кабинет ввалились полицейские, схватили за руки и начали их выкручивать. Суставы хрустнули, он закричал, рванулся, освободился и выпрямился, но один за другим получил сильные удары в грудь и висок.

Потом били ногами в пах и он потерял сознание.

«Что же произошло? Почему гестаповец, просмотрев документы, не отобрал, а возвратил? Ну конечно же возвратил. Вот они, в кармане! Но, возвратив, приказал избить. Почему? Ах да! – вспомнил Ивкин. – Он рассвирепел из-за Швальбе. Кричал, что Кузьмина расстрелять мало, если тот спасал собственную шкуру, вместо того чтобы защищать своего шефа! Швальбе в госпитале, он – полчеловека. И все – Столбцы, Столбцы и такие вот Кузьмины! Вот, стало быть, в чем дело, за что били! И значит, Швальбе в момент налета партизан находился в Столбцах, но остался в живых».

Ивкин просидел в подвале ровно двое суток. Повторного вызова к Фишеру не последовало. Лишь дважды за это время открывалась массивная дубовая дверь, и надзиратель молча выводил его в глухой двор, огороженный высокой кирпичной стеной, по гребню которой спиралью вилась колючая проволока.

Его освободили под вечер, и так, будто и не избивали, не волокли в подвал, не сажали в камеру. Пришел надзиратель и отвел его в ту самую комнату, в которой он уже был перед тем, как попасть на прием к Фишеру. И тот же полицейский, лениво скользнув взглядом, протянул

ему две уже заготовленные бумажки. Одна была направлением на работу и адресовалась шефу авторемонтного завода герру Хансону, а вторая – простой запиской в какое-то общежитие.

– Сперва иди в общежитие. Это здесь рядом, – только и проговорил полицейский. – Скажешь, от герра Нагеля, понял?.. Да сполосни фотографию. А вообще, радуйся, все в порядке, и Столбцы, и Минск запрашивали. Здорово же ты шлюху!.. Таких надо чем попало. Топором так топором!

Ивкин хотел было узнать, а как насчет часов, они у него сняты, но посчитал за лучшее промолчать.

День был пасмурный, серый, но радостный для Ивкина: он освобожден, ему поверили – он Кузьмин!

Оглянувшись на особняк, в котором столько испытал, он до боли в суставах сжал в карманах кулаки – снова представил звериные лица молодчиков гестапо. Все тело ломило. Ивкин шел медленно. И все-таки чувство удачи не покидало его. То, чего он так страшился по прибытии в городок, кажется, миновало, в кармане – направление на работу и в общежитие. Он брел по улице, движимый только одним: поскорей добраться до койки, грохнуться на нее и уснуть. Он выстоял! Ему поверили! А что ожидает впереди – будет видно. Неожиданностей еще хватит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.